

Василий Мишенёв

## Высветление головы

Прошёл Ильин день, схлынула жара, пропал овод. От речки по вечерам наползает слоистый белый туман, медленно перекагывается через прысла огородов и отдыхает до утра на зелёной отаве, на картофельной ботве, выпадая на рассвете к ясному дню обильной росой. А ночью на небе тесно звёздам. Кроют за-предельную высь метеориты. Сидишь на тёплом крыльчке деревенской избы и уже не загадываешь желаний при падении звезды: прошли те годы, когда думалось, что вся жизнь впереди, когда мечты и желания теснились в тебе, шли внахлёт. Теперь, когда долго смотришь на ночное звёздное небо, какая-то вселенская печаль овладевает душой, обостряет зрение и слух. Смотришь на уснувшую деревню, обласканную мягким светом луны и звёзд, и грустишь сердцем об ушедших годах и ушедших людях, вспоминаешь былое время, былые встречи. Воспоминания приходят добрые и светлые, но успокоения не приносят, не растворяют в душе вселенскую печаль, и хочется пойти к кому-нибудь, поговорить по душам, а то и просто помолчать рядом с хорошим человеком.

Наступит день — всё изменится. Надо работать, пользоваться главным условием для творческой работы — уединением. На своей родине. В своей избе. И хорошо, если рождаются в тебе, то ли в голове, то ли в сердце, такие образы и мысли, которыми не зазорно поделиться с людьми, найдя для них, образов и мыслей, нужные слова и нужное звучание.

По вечерам заходит ко мне деревенский книгочей Фёдор Николаевич, бывший колхозный конюх, а ныне пенсионер, старик своеобразный и грамотный. Кроме «районки» и областной газеты, выписывает центральные издания, газеты подшивает и подшивки хранит. Встречи с Фёдором я называю про себя «высветлением головы». Выражение это принадлежит ему. Иногда мой внимательный друг говорит мне: «Голова не устала? То читаешь, то пишешь. Надо и отдыхать, делать время от времени высветление головы».

Беседы наши всегда проходят ровно, доброжелательно и неспешно. Люблю поговорить с ним о былых временах, когда в деревне были колхозные лошади и мы, ребяташки, помогали зимой конюху поить их, таскали ведрами из проруби воду, наливали в старые колоды и от этого испытывали радость. Навсегда остались в памяти, будто и не лошади вовсе,

а добрые существа из детства, колхозные труженики Венчик, Майка, Лысанко и даже Клоп, низкорослая лошадка ветеринара. Сколько воробьёв кормилось около конюшни, подбирая овёс или копошась в конском навозе. Где теперь кони и воробьи?

Закончив наши разговоры, обычно мы расстаёмся с Фёдором Николаевичем довольные друг другом. Постепенно наши отношения переросли в дружбу, а общение стало необходимостью.

Иногда он приходит с газетой, желая обсудить задевшую его за живое статью и тогда разговор накаляется.

— Правду надо писать, правду! — возбуждённо заявлял мне Фёдор Николаевич, как будто это я, а не кто иной, напечатал в газете статью, которая возмутила его.

Заявлял и не ждал каких-либо возражений. А я ему и не возражал. Только думал про себя: «А кому нужна она, правда? Она как солнышко. Когда на неё смотрят, то щурятся. Далеко не всем она по нутру. Многие люди, особенно обладающие властью, стараются держать правду на положении докучливой и раздражающей падчерицы, а в любимых дочках у них лезть и хвала да всеобщий «одобрямс», который не просто настораживает, а пугает, ибо он не что иное, как признак стадности и лакейства, которое давно в крови у людей, отчего они с такой лёгкостью работлепно гнут спину перед любим, даже самым малым, начальством, унижаются и заискивают перед любим иностранцем.

Ничего я не говорил старому другу на эту вечно болезную тему правды и справедливости, да и зачем было говорить? Старик же, поняв, что заехал не в ту степь, начинал искать способ, как вырुлить на нужную, более ровную, колею. И находил. Изображая простодушное любопытство, в который раз спрашивал меня:

— Смотрю и не могу понять: что за странный у тебя на столе телевизор? Вроде включён, а ни кина, ни депутатов.

— Это компьютер, — в который же раз отвечал я, поняв хитроумный манёвр собеседника, и начинал объяснять что-нибудь о работе компьютера, а дотошный старик слушал меня с особенным вниманием, лишь иногда удивлённо вставляя короткие замечания типа «надо же!» или «ты смотри!»...

И снова день прошёл незаметно, в обычных делах и занятиях, а вечером зашёл Фёдор Николаевич.

— Здорово живём! — поприветствовал меня и по обыкновению остановился у порога, оценивая ситуацию.

Деликатный старик всегда боялся помешать, оторвать от работы.

— Проходи, Фёдор Николаевич! Сейчас чайку попьём. — здороваясь за руку, пригласил его.

— Вот книгу принёс. Прочитал.

Он брал у меня книги почитать, и я всегда подбирал ему что-нибудь из того, что было у меня в деревне. На этот раз приготовил старику «Деревянные кони» Абрамова.

Когда мой друг прочитал «Пряслины» Абрамова и возвращал книгу, то не смог удержаться и с гордостью дал понять:

— Не заметил ли ты такое совпадение, что многих хороших людей в России зовут Фёдорами: Тютчев, Достоевский, Абрамов?

Свою персону он в этот список скромно не включил по одной простой причине — себя Фёдор писателем пока не числил, но его многозначительный взгляд дал мне понять, что он привёл список «хороших людей» и не продолжил его известным мне человеком только из скромности: мол, думай сам, тонкий намёк тебе сделан.

Я смеялся от всей души:

— Ох, Фёдор Николаевич, просто уморил. И откуда в тебе столько мудрости? Знаешь, один мой приятель, по имени тоже Василий, бывало, говорил: «Хорошего человека Васькой не назовут». Я всегда был с ним в корне не согласен. Мне больше нравится, как Василий Шукшин говорил Василию Белову: «Какое прекрасное имя нам с тобой дали родители!»

Фёдор сел на диван к столу, на своё привычное место, положил книгу на стол. Это был сборник Виктора Астафьева с его «Одой русскому огороду».

По опыту общения с читателями знаю, что нынешний читатель в большинстве своём все впечатления от прочитанной книги выражает коротко: «Замечательная книга», — или: «Меня не задело». Объяснить же, чем замечательна книга или почему не задела, он не может. Грамотный и начитанный человек не в силах сформулировать свои мысли о книге. Фёдор Николаевич был читателем иного склада. Он не только с удовольствием или с неприятием, в зависимости от того, понравилась или нет ему книга, мог порассуждать о ней, но часто стремился начать со мной дискуссию, теща своё самолюбие тем, что может пусть не поспорить с писателем, так хотя бы достойно поддержать разговор на столь высокую тему, хотя моё мнение в вопросах литературы было для него непререкаемым.

— Понравилась книга?

— Очень. Я уже читал Астафьева. Повести о войне и о детстве в Сибири. Когда ты давал мне эту книгу и сказал, что ода — это похвальное сочинение

кому-нибудь или чему-нибудь, я как-то насторожился. Не люблю хвалебное. Мне больше по нутру солёное, жизненное.

— Слух Астафьева к русскому слову был изумительным. Вот и здесь, думаю, в названии для него было немаловажным созвучие «ода» — «огороду». Он и дом на Вологодчине купил в деревне Сибла. Мне кажется неслучайным созвучие «Сибла» — «Сибирь». Какое-то напоминание писателю о родине.

— Ну, до таких тонкостей мне далеко, хотя я сразу уловил. Какой писатель! Какой человек! Я читал, и мне всё время хотелось поделиться с кем-нибудь тем, что читаю. Как же он смог сложить такую удивительную песню про огород! Настоящий гимн! Прав я или нет? Отдельные места зачитывал Андреевне. Она то смеялась, то плакала, и оба мы начинали вспоминать свою жизнь.

— У меня, Фёдор Николаевич, есть ещё его книги. Великий русский писатель! О нём всегда спорят. Некоторые люди, не пролившие за родину и капли крови, ничего серьёзного не сделавшие для русской литературы, до сих пор по тому или иному поводу пытаются осуждать Астафьева, прошедшего всю войну, израненного, потерявшего на фронте глаз, ставшего из беспризорника мировым писателем, — начал горячиться я.

— Когда уходят великие, остаются обсески, — произнёс Фёдор.

Я так был поражён этой неожиданной фразой старика, что долго молча смотрел на него и невольно стал думать о том, сколько сейчас настоящих писателей и сколько называющих себя писателями разного рода изворотливых людей, которым до звания писателя — как до Луны ползком. Надо понимать, что знание букв — не признак писательства. Тема о писателях для меня болезненная, и, не желая портить вечер, я отмахнулся от неё: Бог с ними!

Предложил доброму и мудрому человеку:

— А не помянуть ли нам Виктора Петровича Астафьева, Фёдор Николаевич? У меня нет, к сожалению, его любимой кедровой настойки, но что-нибудь найдём.

Мой собеседник такому предложению несколько удивился, посмотрел на меня с прищуром, но отнекиваться не стал, видимо посчитал, что отказаться помянуть великого писателя — большой грех.

Мы перешли на кухню. Я достал бутылку водки, рюмки и пригодившуюся холодную закуску: принесённые днём братом жареные котлеты и зелёный лук. Налил по чашке холодного чая с чёрной смородиной.

— Богато живёшь, — одобрил Фёдор, и мы приступили к трапезе.

— Помянем Виктора Петровича! Пусть земля ему будет пухом!

— Помянем, — согласился старик.

Не чокаясь, мы выпили.

— Виктор Астафьев дважды бывал в нашем районе. А первый раз — даже в Блуднове, на родине

Александра Яшина, и на его могиле на Бобришном угоре. Приезжал вместе с другими вологодскими писателями, — сообщил я Фёдору.

— В Блуднове? — даже несколько оторопел старик. — Это ж совсем рядом! Километров пятнадцать. Что ж ты его не пригласил в гости?

— Давно это было, Фёдор Николаевич.

— А когда, не знаешь?

— В августе шестьдесят девятого.

— Вот я не знал! Сходил бы в Блудново посмотреть на этого человека!

Мой друг долго не мог успокоиться от известия о том, что Астафьев был совсем рядом, а он и не знал. В этот раз я не стал рассказывать ему, что есть у меня последняя прижизненная книга с тёплой надписью Астафа, присланная мне из Сибири, что есть письмо Астафьева ко мне, которое он опубликовал в московском издании, и как часто согревают мою душу его слова из этого письма: «Нигде-нигде ты не опустился до слепой подражательности нашим с детства любимым и запомненным поэтам! Всюду ты остался современно-мыслящим, современно-растревожённым, по-современному тихо горящим певцом».

Я снова налил водки.

Перед второй рюмкой Фёдор Николаевич произнёс свой тост:

— За высветление головы!

Не знаю, как насчёт «высветления» головы, но на душе потеплело. И от водки, и оттого, что помянули Астафьева. А ещё оттого, что есть у меня здесь, в родной деревне, такой собеседник, Фёдор Николаевич, с которым мне всегда легко и интересно. Перейдя от душевного разговора об Астафьеве к делам обыденным, мы договорились сходить завтра утром за грибами, недалеко, на заросшую молодым березнячком пашню. Долго вспоминали, сколько раньше было в лесу грибов, да и сам лес ещё был не погублен.

Наконец Фёдор собрался домой:

— Порулю к дому. Андреевна ждёт.

Старик никогда не называл Анну Андреевну старухой или женой, а всегда только по отчеству: Андреевна. Правда, в шутку иногда мог назвать «грозой морей». Жена Фёдора, Анна Андреевна, была женщина крупная, с большими крепкими руками, широким, но приятным лицом. «Не по себе берёзку вырубил», — говорили в деревне про жёнитьбу Фёдора на Анне. Судьба у каждого своя и своё счастье. Фёдор Николаевич своей судьбой был доволен. Жизнь налаживалась, рождались и росли дети. Одно всегда досаждало: из-за малого роста приклеилось к Фёдору в деревне прозвище Шарик. Так и жил с ним. Иногда и жена срывалась, в горячке обзывала, но тут уж был виноват он сам. Например, позовут его в помощники, конечно, не брёвна на сруб закапывать, а где-то поддержать, подмогнуть, для чего сильного мужика и приглашать неудобно.

После работы выпьет Фёдор с хозяином, да, чего греха таить, иногда и лишка. Сбивается с курса по дороге домой, к своей Андреевне. А та, не дождавшись мужа, идёт на поиски и находит Фёдора, к всеобщему стыду, где-нибудь в канаве, откуда он без посторонней помощи выбраться не в силах и только что-то неразборчиво бормочет. Жена в канаву помочь мужу не лезет, стоит на бровке дороги и склоняется к канаве с приветственными по такому случаю словами: «Позорная душа, алкаш, сбитый лётчик». С «позорной душой» и «алкашом» Фёдор спорить бы в данном случае не стал, но «сбитый лётчик» его всегда, даже пьяного, почему-то обижал. Он и это бы стерпел, но Анна Андреевна в женском запале переходила все границы дозволенного. Ещё ниже склонившись над поверженным мужем, она громко и зло бросала ему, как камень, ненавистное слово: «Шарик!» И начинала повторять его после множество раз. От такой обиды и мёртвый восстанет, а не только пьяный. Не с первой попытки, но Фёдору удавалось после долгого барахтанья наконец со стопами и руганью выгнать своё никудышное и грешное тело из канавы. С угрозой: «Сейчас покажу тебе Шарика!» — он пытался встать на все четыре опоры и броситься в атаку, но жена его отступала назад и, по-прежнему дразня: «Шарик! Шарик!» — не думала помочь мужу. Тот, кряхтя и ругаясь, на четырёх конечностях выползал на обочину дороги и, не в силах подняться на ноги, пытался таким манером настичь жену, медленно вслед за ней приближаясь к дому, пока обессиленно не падал мёртвым грузом. Тут Анна Андреевна замолкала, брала правой рукой своего суженого поперёк спины и так, в руке, не взваливая на плечо, несла домой. Фёдор не сопротивлялся, успокаивался и лишь иногда примирительно бормотал: «Не урони, мать!»

«Жизнь не всегда сахар!» — иногда говорит жизнерадостный человек Фёдор Николаевич, бывший колхозный конюх, ныне пенсионер, читатель и почитатель русских писателей. И я ему всегда верю.

От водки старик порозовел, размяк, но в долгие умные разговоры, как многие подвыпившие люди, не пускался, достойно сдерживая себя. Зная эту черту старика, я, грешный, из самых добрых побуждений предлагал иногда уважаемому мной человеку выпить.

Собравшись домой, мой гость молча посидел ещё с минуту, потом поднялся, взглянул в угол над столом на икону Николая Чудотворца, кивнул святому и подал мне руку. Я подал ему шапку и книгу, которую приготовил Фёдору. Даже хотел сказать, чтоб книгу дорогой не потерял, но вовремя прикусил язык: это бы старика обидело.

У порога, уже взявшись за дверную скобу, старик оглянулся, посмотрел выжидательно на меня, но я мужественно промолчал, посчитав стопку на посошок уже лишней. Старик молча вздохнул и только напоследок, уже открыв дверь, предупредил:

— За грибами рано пойдём. Не проспи!

Я смотрел из окна, как Фёдор неуверенной походкой подвыпившего человека шёл по тропинке от моего дома до калитки, смотрел на него и думал: «Какие нам завтра грибы! Не бывать!»

Хлопнув калиткой палисадника, старик на безлюдной дороге оглянулся по сторонам, какое-то время порассуждал сам с собой, потом решительно махнул рукой и двинулся к дому, не спеша, как по скользкому льду. Не связанные тесёмками уши загнутой снизу шапки оттопырились в стороны и при каждом шаге взмахивали. Будто на голове сидела большая чёрная птица и пыталась взлететь.

«Какие нам завтра грибы!» — снова подумал я и лёг спать.

В детстве я часто разговаривал ночью во сне; чтобы избавиться от этого, кто-то научил маму поить меня водой из ведра, из которого только что пила лошадь. Я и сейчас хорошо помню нашу лошадь. Это был старый мерин Майко, добрый и удивительно умный. «Только не говорит», — любовно и с гордостью отзывался о нём отец. Напившись, Майко поднимал голову, с его морды тонкими струйками долго стекала вода. Мать черпала из ведра кружкой, силком поила меня и говорила, что поможет. Я об этом не думал. Маленький, я боялся стать лошадьёю. Как братец Иванушка стал козлёночком, напившись из козьего копытца.

Теперь я снова часто разговариваю, а то и кричу во сне, но меня уже никто не заставляет пить воду из ведра после лошади. Давным-давно сдан на мясокомбинат старый труженик Майко, а мама покоится на сельском кладбище, и ей теперь всё равно, разговариваю я во сне или нет.

Сегодня мне ничего не снилось, я не кричал во сне, но проснулся среди ночи от беспokoянного ощущения на душе. Такое состояние бывает, когда накануне что-то очень важное не успел или не сумел сделать, оставил на потом, а оно на потом не ушло, вцепилось в тебя и нудно напоминает о себе, как червь, точит и точит, лишая всякого покоя. Мысль о том, что минувший день прошёл обычно, в каких-то привычных и не очень важных делах, которые писатели любят для самоуспокоения и придания важности своему существованию называть «работой», — меня эта мысль как-то успокоила, но спать уже не хотелось.

Я лежал с открытыми глазами в своей деревенской избушке и вспоминал, как строил её, рвал по глупости жилы, одержимый мыслями о том, что будет в деревне у меня свой угол, своя крыша, и не для праздного отдыха, а для творческой работы.

Избушка моя в семь окон, украшенных резными обносами, то весело, то задумчиво поглядывает на окружающий мир и не забывает о своём хозяине, когда он долго не может приехать в свою деревянную и затопить остывшую печь.

Под самым окном вырос и расцвёл иван-чай, своей нежно-розовой метёлкой достаёт до оконной рамы и при слабом ветерке едва слышно касается стекла. Я слышу это касание и настолько привык к нему, что в какое-то раннее утро, не услышав привычного звука, всерьёз испугался, не сломил ли кто-нибудь мой цветок, и вышел на улицу посмотреть. Тревога оказалась напрасной: иван-чай был на месте, просто пчела сидела на нём и собирала нектар, пригибая своей тяжестью нежный цветок.

Ночью, когда не спится, время идёт тише.

А я снова думал о тех, кому спится в эту ночь. Думал о родных, жене и дочери, внуке и внучке, дорогих созданиях, светлой моей радости, думал о друзьях, настоящих и надёжных людях, которые не забывают в трудный час. Успокоив сердце мыслями о близких мне людях, снова задремал сладким предутренним сном.

Проснулся я вовремя. Когда Фёдор, в своей все-сезонной шапке, литых чёрных сапогах и старом брезентовом плаще, объявился в моей избушке, я уже сидел на кухне и пил чай. Поприветствовав старика, пригласил его выпить чаю, но он отказался. Тогда я сделал ему другое предложение:

— Может, стопочку?

Он замешкался, но потом ответил:

— С утра не пью.

Сказал это твёрдо. Наверное, больше для себя, чем для меня. Мы пристроились возле печки и закурили. Фёдор Николаевич курил только папиросы, свой любимый ленинградский «Беломор». Если запасы папирос кончались, переходил на махорку. Странное дело, но смотреть на курящего Фёдора было всегда приятно: он не курил папиросу, а смаковал её. После каждой затяжки дымозабвенно закрывал глаза и медленно выпускал дым какой-то почти пижонской струйкой, при этом руку с папиросой всегда отводил далеко в сторону. Во время курения вся его осанка, человека маленького, щупленького, вдруг приобретала довольно горделивый вид, не старичок сидел перед вами, а царь на троне. Или почти царь, только вместо скипетра в руке держал папиросу.

Грибов было мало. Нашли несколько молодых маслят, высыпающих к самой тропинке, да меньше десятка обабочков-подберёзовиков в самой чащобе, едва живых, на тонких ножках. Серые шляпки у них потрескались и выглядели понуро. Недовольный Фёдор Николаевич ворчал, что земля засохла, надо дождей, тогда и грибы пойдут.

А день начинался хорош, солнечный, но не жаркий, с белыми лебедями облаков на высоком небе, и у меня на душе было радостно. Вдыхая свежий воздух августовского утра, я благодарно думал: «Спасибо, родина, за это утро!»

И наполнилась моя душа любовью к родине и жадной жизни.